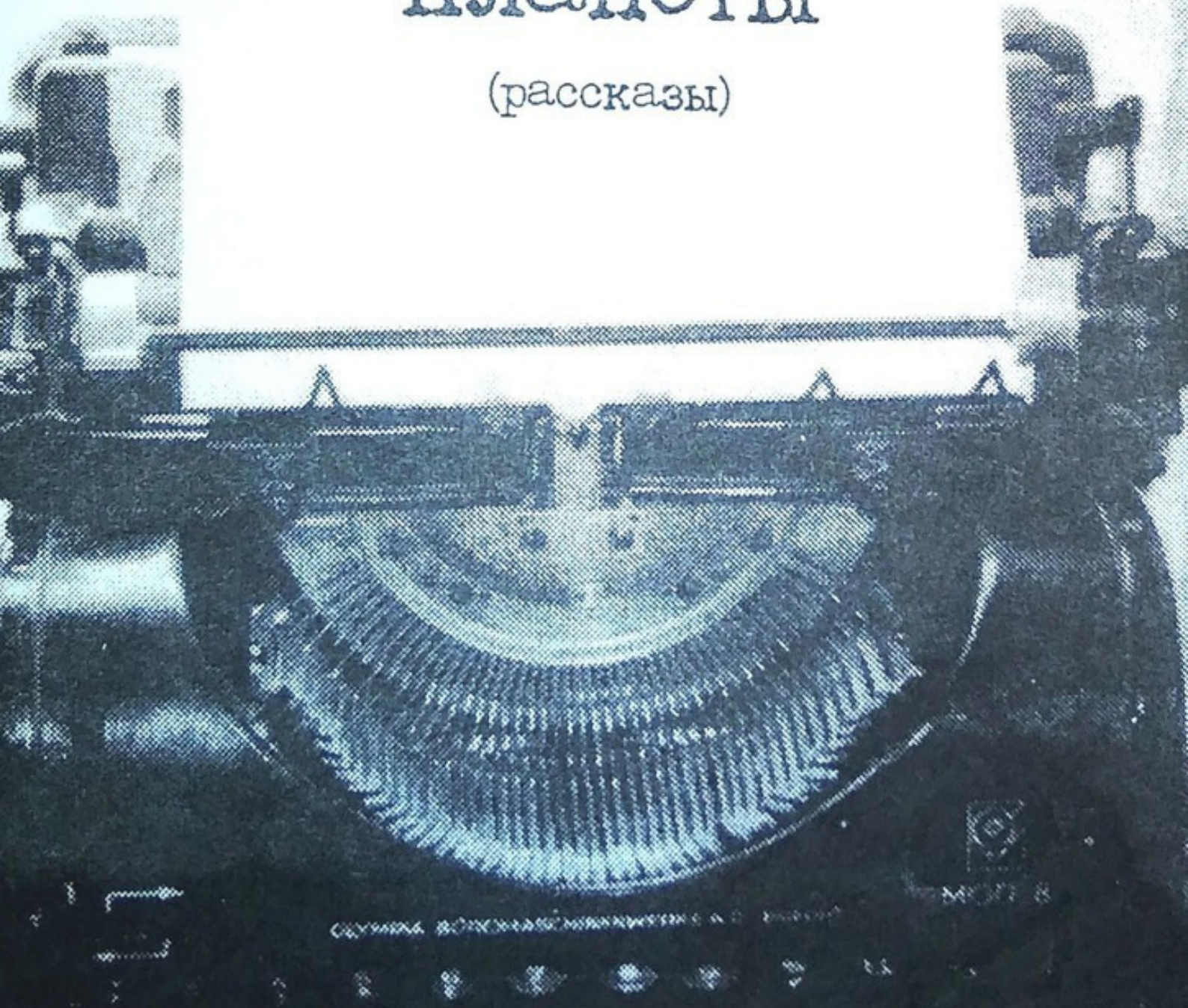


Мария Романушко

как
лепить
планеты

(рассказы)



Мария Романушко

Как лепить планеты. Рассказы

«Издательские решения»

Романушко М.

Как лепить планеты. Рассказы / М. Романушко — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-512079-3

В книгу входит три сборника рассказов, написанных в разные годы. В этих рассказах читатель путешествует по трём измерениям жизни, по трём мирам. Это — мир Детства, мир Природы и мир Творчества. Сюжеты рассказов не придуманы, они глубоко реалистичны. При этом автор обладает проникновенной способностью видеть за внешним — внутреннее.

ISBN 978-5-00-512079-3

© Романушко М.
© Издательские решения

Содержание

Звонки в августе	6
Трамвайная остановка у осеннего парка	6
Мы поехали за город...	8
Встреча на бульваре	12
Двое на дне дождя	15
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Как лепить планеты Рассказы

Мария Романушко

© Мария Романушко, 2020

ISBN 978-5-0051-2079-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Звонки в августе

Сборник первый

Трамвайная остановка у осеннего парка

Прицепив на дверь записку «Скоро вернусь», он идёт провожать меня. За пазуху старого демисезонного пальто он сажает котёнка. «Вот, приبلудился, – говорит он, как бы извиняясь. – Без меня теперь не может. Оставить одного – будет кричать, как ребёнок».

Тёмный переулок около парка Тимирязевки. Идём почти на ощупь. Под ногами – мягкая, перепрелая ноябрьская листва.

– Осторожнее, здесь кочка, – говорит он, – не споткнись. Представляешь, выросла такая штука посреди асфальта. Пощупай ногой. Вот. Растёт и растёт... С каждым годом всё больше. Вроде как огромный дождевик сквозь асфальт прорастает. Или ещё кто-то. Всё собираюсь сказку про эту кочку написать.

Мы идём мимо тёмной стены парка, как мимо дремучего леса, на слабо желтеющий впереди огонёк трамвайной остановки.

– Какой из тебя клоун? – говорит он. – У тебя красивые женские руки. Разве у клоуна бывают такие руки?

– Всё равно. Не в этом дело, – говорю я.

– Давай я лучше писать тебя научу, – предлагает он. – Будешь писателем. У тебя есть способности. Все эти твои штучки, как ты их называешь? Да-да, репризы, в них что-то есть... Если над ними поработать, получатся рассказы.

– Я буду клоуном, – говорю я.

Он вздыхает.

– Что ж ты, если в следующий раз влюбишься в водопроводчика, то станешь водопроводчиком? Или я уж не знаю, в кого... Глупо.

Я не обижаюсь на него. Он старик. Разве он может понять меня? Я злюсь на приятеля, который дал мне телефон этого живого классика («Отличный дядька! Поможет, подскажет...»), и он теперь шаркает рядом со мной по тёмной дорожке с котом за пазухой. Неужели, думаю я, когда мне будет сорок лет... сорок лет? я содрогаюсь от ужаса. Нет. Никогда.

Мы выходим на трамвайную остановку. Деревянная, с ажурной резьбой на козырьке, с лампой под старинным плафоном, она, наверное, одна такая на всю Москву, чудом сохранившаяся. На мгновение мне вдруг кажется, что я попала во времена прабабушкиной молодости, во времена конок и кринолинов...

– А я, знаешь, с детства мечтал стать писателем. Хотел писать романы, такие толстые... с разными любовными историями... Чтобы мечтательные девочки, как ты, читали по ночам и плакали.

– Смешно, – говорю я.

– Вот и я говорю: смешно, – поспешно соглашается он. – Но ведь это в детстве...

Мне немного неловко, я всё жду, что он начнёт расспрашивать, какая из его книг мне больше всего нравится, а я ни одну из них не смогла дочитать до конца. Я даже не могу сейчас вспомнить ни одного имени, ни одного живого лица... Но он молчит.

На остановке, кроме нас, никого. Покачивается на ветру жёлтая, мутная лампа. Наши тени возникают то справа от нас, то слева. От этого кажется, что на остановке нас больше, чем есть на самом деле.

– Знаешь, какая самая страшная вещь? – спрашивает он.

– Наверное, одиночество, – говорю я, глядя, как его рука ласкает котёнка. Котёнок от удовольствия урчит, даже странно, как громко он урчит, такой маленький – где в нём помещается столько удовольствия?

– Одиночество?.. – переспрашивает он. – Одиночество перетерпеть можно. Да и потом: какое одиночество? Открыл дверь – вошло существо, вот это, трётся об ногу... уже не одинок. Нет, милая, в жизни есть вещи пострашнее... Всю жизнь простоять на такой вот трамвайной остановке. И не знать, придёт он или нет, твой трамвай?..

– А они здесь вообще-то ходят? – спрашиваю я, чувствуя, как осенняя сырость пробирает меня до костей.

– Вообще-то ходят. Твой-то уж точно придёт.

– Почему же вы не написали его? – спрашиваю я. – Свой роман.

– Почему?.. Да потому же, почему ты не выйдешь на цирковой манеж! – говорит он неожиданно жёстко. Но тут же виновато улыбается. – Прости. Не слушай меня. Я ничем не могу помочь тебе. Ты во что-то веришь, ты можешь вот так смешно влюбиться... Это я должен просить тебя: помоги, научи! Я давно уже никого не любил. Я не написал свою единственную книгу, я всё ждал, когда будет можно... Но даже если завтра мне скажут: можно, я всё равно ничего уже не напишу...

Где-то вдалеке послышалось гроыхание трамвая, и вот он уже выскочил из тёмной парковой тьмы, весело позванивающий на стыках, сыплющий синими искрами на мокрую мостовую...

– Твой трамвай, – сказал он. – Доедешь до конечной, там пересядешь на метро. Прощай. Его глаза с печалью смотрели на меня.

– Смешная ты девочка. Но ты мне нравишься. Прощай.

Трамвай, сияя изнутри жёлтым заревом, взвизгнул и остановился. Пассажиров было всего несколько человек. Никто не вышел. Вагоновожатый смотрел на нас и ждал.

– Терпеть не могу прощаться. Грустно это как-то...

– Да ладно, чего уж там... – он легонько подтолкнул меня к вагону.

Я вошла в вагон, двери с грохотом закрылись, и трамвай, резко рванув с места, полетел меж двух тёмных стен мрака по узкому сверкающему пути... Я прошла к заднему окну, и ещё долго мне была видна старинная трамвайная остановка и одинокая фигура под жёлтой, качающейся на ветру лампой. Он всё махал мне вслед рукой, потом снял шляпу и долго махал шляпой...

1.10.1987

Мы поехали за город...

Почему-то вспомнилось, как я ездила в гости к Большому Поэту. Нет, велик он был не из-за своих поэтических заслуг. А потому он был велик, что заведовал Главной Кормушкой, где распределяли премии, дачи и другие жизненные блага.

Меня познакомил с ним мой замечательный крёстный, большой любитель и знаток поэзии. Он помнил Большого Поэта молодым. Он читал иногда наизусть его старые стихи, которые помнил с юности. Я не могла поверить, что их написал Заведующий Кормушкой, пока крёстный не показал мне старый томик стихов с пожелтевшими страницами. И эти, почти рассыпающиеся от времени, странички дышали такой свежестью и талантом! Казалось – стихи написаны только вчера.

– А ведь он тоже относится к поэтам Серебряного века! – изумилась я своему открытию.

– Мог бы относиться... – задумчиво сказал мой крёстный. – Да, он начинал в одно время с ними, и со многими из них дружил. Но потом видишь, как бывает: переквалифицировался в пролетарского поэта. У него жена дворянского происхождения, ему нужно было спасать и её, и себя...

Мой крёстный навещал порой Большого Поэта по старой дружбе. И однажды позвал в этот дом и меня.

* * *

Мы приехали на летней электричке в писательский дачный посёлок. Прошли по жарким безлюдным улочкам. Вдоль глухого высокого забора с колючей проволокой по верху. Дошли до калитки. Впрочем, это была не совсем калитка – а дверь с глазком и кнопкой звонка.

Позвонили. Долго ждали. Потом нас рассматривали в глазок и выспрашивали, кто мы такие. Ходили о нас докладывать, мы опять ждали. Наконец дверь в заборе отворилась, и нас пустили на территорию.

Следом за человеком, мужчиной лет пятидесяти в тёмном костюме, невысокого роста, с тихим голосом слуги, мы прошли между высоченных сосен по усыпанной красным песком дорожке к дому. Дачей его можно было назвать с очень большой натяжкой. Это был двухэтажный особняк с полукруглым каменным крыльцом. На крыльце стоял сам Большой Поэт. Толстый живот его поддерживали две широкие подтяжки. Его рас-плывшееся красное лицо улыбалось нам навстречу широко и приветливо. От него крепко пахло вином.

Мы прошли на веранду. Здесь стоял большой стол. На столе – початая бутылка с яркой иностранной этикеткой. Хозяин опустил в кресло у стола с намерением продолжить прерванное нашим появлением занятие. Жестом пригласил нас садиться и присоединиться к нему.

Полуобернувшись ко мне, он спросил:

– Что предпочитает молодёжь: французское или грузинское?

Молодёжь предпочитала лимонад. В крайнем случае – чашку чая. Хозяин густо рассмеялся, сочтя мой ответ за шутку.

– Ванька, Ванюшка! – крикнул он в сторону распахнутых дверей.

Тут же возник человек в тёмном костюме, который вёл нас сюда от калитки.

– Принеси-ка нам, дружок, из погреба французского!

Человек исчез без звука.

В углу веранды работал огромный цветной телевизор. Тогда, в начале семидесятых, – большая редкость, невидаль. Показывали футбол. Перехватив мой взгляд, хозяин сказал:

– Одна лётчица подарила. Я её воспоминания военные напечатал. Вот, притащила, – в благодарность.

– И вы приняли от женщины такой дорогой подарок?

Он окинул меня добродушным хмельным взглядом и рассмеялся.

– Да она счастлива была мне его подарить!

Тем временем на столе возникла запотевшая бутылка французского. Возникла пышная горничная в белой кружевной наколке, бесшумная и лёгкая, как облако, с двумя хрустальными бокалами на подносе.

Где я? В каком веке?.. Рядом со мной сидел хозяин, русский барин. Дом был полон челяди. Заходил шофёр (так и хочется сказать: кучер), сказал, что всё заказанное из Москвы привёз. Откуда-то из глубин дома выплывала кухарка, тоже о чём-то докладывала. В раскрытое окно было видно работающего садовника: он косил, коса жарко взвизгивала, пахло скошенной травой... У края стола сидел бессловесный Ванька-Ванюшка, временами он срывался с места, куда-то убегал и приносил из погреба «подружку» (так хозяин называл каждую очередную бутылку). Хозяин подливал в наши бокалы. После дороги ужасно хотелось пить. Пришлось пить то, что дают. Мужчины смотрели футбол и обсуждали этот мало интересующий меня предмет. Стало скучно и захотелось на волю.

– А погулять можно? – спросила я.

Величественный жест был мне ответом.

Мой крёстный составил мне компанию. Участок оказался настоящим лесом. Здесь были сосны и незабудки. Наверное, французская «подружка» тому причиной, или – молодой весёлый бунт?.. Так или иначе, но я упала на одну из голубых незабудковых полянок, как на ковёр, и – благо, была в брюках – стала кувыркаться на этом маленьком манеже – пред чинными окнами особняка... Я вставала на голову, и, отчаянно дрыгая в воздухе ногами, пыталась сохранить равновесие, а мой крёстный смущённо шептал: «Ведь смотрят же!..» Действительно: в одном из окон на первом этаже белым облаком застыла изумлённая горничная. В окне второго этажа – я мельком увидела сухое скорбное лицо старой дамы, жены хозяина.

– Ну, и пусть смотрят!

Я сделала ещё один кульбит и повалилась на голубой ковёр: меня душил смех... Особняк, хозяин с толстой бородавкой на лбу, его засушенная, как осенний лист, жена, белое облако горничной, Ванька на побегушках – всё при своей вызывающей реальности – казалось декорацией. Декорацией к какой пьесе? Кто её автор?.. Я знала только одно: что пьеса эта стара, как мир, и роли в этой пьесе актёры выбирают сами.

Ненастоящими казались даже голубенькие незабудки. И я стала пучками выдёргивать их из горячей земли...

Потом мы вернулись в дом и чинно уселись за стол. Хозяин всё так же расслабленно смотрел в ярко размалёванный экран телевизора. Звук был выключен. Рядом, опустив голову на стол, дремал Ванька-Ванюшка.

Неожиданно заскрипела лестница, и откуда-то сверху сошла пожилая дама, с прямой, негнушейся спиной столбовой дворянки и скорбным лицом. Жена Большого Поэта. Несмотря на жару, она зябко куталась в большую белую шаль. Слегка кивнув нам, она опустилась поодаль в кресло и, оставаясь безмолвной, с любопытством рассматривала меня.

– Это та самая М., о которой я рассказывал Вам, – сказал, обращаясь к ней, мой крёстный. А мне шепнул: «Она очень интересуется современной поэзией».

Старая дама, с ещё большим удивлением окинув меня взглядом, спросила надтреснутым голосом:

– Мне говорили, Вы пишете стихи?

– Да.

– Ну, так почитайте же нам! – не попросила, а приказала она. Голос у неё был тихий, но властный.

«Прочти, прочти что-нибудь, – шепнул мне крёстный. – Ведь она ради тебя спустилась, ты её заинтриговала».

Я продолжала пребывать во взвинченном настроении, требовавшем выхода.
– Посвящается Гумилёву! – с вызовом сказала я.
– Льву? – уточнила дама.
– Нет. Николаю!

Ты откуда, заблудившийся трамвай?..
Пыль глухая на колёсах и трава.
Мне сегодня сердце шепчет, задрожав:
«Машенька – жива!..»
В пыль и прах – прошедшие года.
Говорит: не расставались никогда.
Я в трамвай вбегаю на ходу.
Машеньку найду!
Не в безумье, не во сне и не в бреде —
Я тебя найду!
Скрежет, хохот, поворот и стёкол дрожь:
«Не найдёшь!»
На безмолвных колокольнях – пыль, трава.
Машенька мертва...
Овощной, капустный дух над алтарём —
Все умрём.

Старая печальная дама слушала меня в напряжении, которое передалось мне по воздуху, как электричество. А её муж, толстый барин с бородавкой на лбу, смотрел на меня протрезвившим взглядом...

Неподкупные не дремлют сторожа...
«Но сирень цветёт, заря ещё свежа!»
Обезглавленная бедная Москва,
Ты ещё – жива?
Ты – царевна спящая в гробу.
Не могу
Взгляда жуткого от милой оторвать...
Целовать,
Целовать, покуда теплится заря...
Может – зря?
Машенька, Москва, Россия, Машенька,
Страшно мне!
Ах, оставь, оставь меня, трамвай —
Чистый грай
Неостуженных колёс... Мне – пешком.
Жизнь ли, смерть ли, – всё равно.
Здесь мой дом.

Когда я закончила читать – тогда, в начале семидесятых, когда на имени Николая Гумилёва ещё лежало табу, – в комнате повисла пауза. Молчала дама. Молчал мой крёстный. Все,

как я понимала, ждали реакции хозяина. А он, обернувшись ко мне всем своим грузным телом и красным лицом, неожиданно хлопнул меня по плечу увесистой рукой:

– Молодец, молодой человек! – сказал он весело. И, помолчав, добавил уже без улыбки: – А ведь он не виноват. По крайней мере, в том, за что его расстреляли. Никаким шпионом он не был. И доказательства есть. Своими глазами видел.

– Тогда почему же его не реабилитируют?!

– Ну уж этого не будет, молодой человек. Никогда!

В голосе Заведующего Главной Кормушкой прозвучала спокойная уверенность хозяина жизни. А в глазах его, на мгновение преобразившихся (будто сдёрнули с них мутную шторку) я прочла такое, отчего захотелось закричать – и броситься на него, как на каменную стену – и бить, бить эту серую стену кулаками...

«Никогда!» Это прозвучало как – «Не пушу!» О, многое стояло за этим «никогда»!..

И я спорила с ним, горячилась...

* * *

...Как сказал мне потом мой крёстный, я произвела на старого барина и его жену «впечатление». Мне передавали приветы и звали в гости.

Но не тянуло меня под сень пыльных декораций, за колючую проволоку высокого забора, где незабудки – и те мёртвые...

3—8.11.1988

Встреча на бульваре

Я шла по Тверскому бульвару. Был день поздней осени, мрачный и холодный. Голо, ветрено и безлюдно. Редкие пенсионеры в тёмных одеждах прогуливали дрожащих собачек, на собачках были жилеты, а на одной даже беретка.

Его я увидела издали. Он шёл мне навстречу, по боковой аллее, от Пушкинской площади в сторону Литературного института. Он там жил, в маленьком флигеле во дворе института, а я там училась. Впрочем, и он там учился одно время.

Мы познакомились на вступительных экзаменах. Он выделялся среди нас своим спокойствием и величавостью. Чёрная окладистая борода, замедленная, раздумчивая речь, философичный, отрешённый взгляд, осанка царя Соломона. Сдав очередной экзамен, он тут же скрывался в своём флигеле, а в толпе абитуриентов, кишачей в маленьком скверике перед институтом, вокруг маленького Герцена, усиженного голубями, появлялась старая седая женщина – его мать. Она волновалась, переживала, бегала узнавать, какую он получил оценку.

Потом мы оказались с ним в одном творческом семинаре. И здесь он выделялся своим величавым спокойствием, своей соломоновой печальной отрешённостью ото всего происходящего вокруг. На его высоком челе, под откинутыми назад чёрными волосами, в его ироничных и скорбных (скорбных, даже когда он смеялся) глазах читалось: «Пройдёт и это».

На занятиях он садился обычно всегда рядом со мной. Он редко участвовал в разборе творчества наших товарищей и всё оттягивал, не давал для обсуждения ничего из своих сочинений.

Вёл он себя немного как сумасшедший, или, как говорили в старину, юродивый. Руководитель семинара, известный и уважаемый писатель, так однажды и сказал ему: «Кончайте юродствовать, вы нам мешаете заниматься».

А он – продолжал. Говорил он негромко, но голос его, густой и низкий, заглушал порой другие голоса. Он говорил, обращаясь исключительно ко мне, словно вокруг никого больше не было. Он говорил: «И что мы здесь сидим, милая девушка? Разве вы не видите, что это – маленький сумасшедший дом?.. Нет, вы только вслушайтесь в эти речи! Всмотритесь в эти лица!.. Вам не страшно?»

Студенты, почитающие его за человека странного («с тараканами») не обращали внимания на его речитатив. Но руководитель семинара бросал в нашу сторону взгляды ужасающие.

– Только из уважения к памяти вашего отца я терплю вас, – сказал он однажды в сердцах. (Мой приятель был сыном погибшего в войну писателя).

Они жили с матерью в двух небольших комнатах во флигеле, в котором когда-то обитали несколько писательских семей. Теперь здесь остались писательские вдовы, а из выросших детей только мой приятель. Однажды он зазвал меня в гости. Был такой же день поздней осени. В одной из комнат топился камин. Перед камином сидела мать моего приятеля в халате и спущенных чулках, в старом продавленном кресле, подкладывала в камин дрова и пошевеливала кочергой красные угли... Вся обстановка комнаты была довоенной и отдавала откровенной нищетой.

Во второй комнате, кроме железной кровати, обшарпанного стола да голой лампочки под потолком, и вовсе ничего не было.

Окно выходило на Тверской бульвар. За окном было сыро и мрачно. «Знаете, кто жил прежде в этой комнате?» – «Нет».

Он назвал имя великого и нищего писателя. Писателя, который работал в писательском институте дворником: мёл по утрам сквер вокруг маленького Герцена...

– Между прочим, в этой комнате отлично работается, – сказал он.

Мы помолчали, глядя в сумрачное окно и думая об одном.

А в комнате с камином светил абажур жёлтого запылённого цвета, он низко свисал над столом, очерчивая на скатерти тёплый круг, в этом круге дымился чайник, принесённый из кухни... Повсюду: на старом потемневшем буфете, на кожаном диване, на подоконниках, на этажерке были разложены рукописи. Некоторые из них были пере-плетены и представляли собой толстые увесистые тома.

Это были... книги моего приятеля! Я заглянула в них, полистала, углубилась – и сделала ошеломляющее для себя открытие: мой странный приятель – гений! Впервые в жизни я видела перед собой человека, который не мог не писать. Он писал каждый день. Писал обо всём, что видел. Страницы его книг были заполнены людьми, событиями, встречами, курьёзами, анекдотами, размышлениями пронзительной остроты, блестящими, ядовитыми афоризмами.

Были здесь и стихи, печальные и насмешливые. И планы будущих, ещё не написанных книг. Но главное – лица, лица, лица...

Лица и голоса московских послевоенных коммуналок, художественных мастерских, литературных кружков, облики московских подворотен, бульваров, старых дворики... На каждой странице звучал многоголосый московский говор – дворовый, салонный, магазинный, трамвайный, рыночный...

«Послушайте, как это можно было всё написать? Ведь это – эпос!» Он взглянул на меня, не понимая, что вызвало моё изумление. «Вот, пишу потихоньку, – сказал он. – А мама приводит это в божеский вид».

На столе стояла старая, выдавшая виды «Олимпия». У камина сидела старая, усталая женщина и пошевеливала кочергой красные угли... Кто-то в институтском коридоре страшным шёпотом сообщил о ней, что она занимается ростовщицеством. Я смотрела на неё со смешанным чувством страха и почтения. Была она явно не из этого века – с яркими отблесками каминного огня на красивом старом лице, со своими спущенными чулками, с натруженными стучанием на машинке руками и фанатичной верой в звезду своего единственного сына.

...На втором курсе он продолжал юродствовать. Откинувшись на спинку стула и слегка покачиваясь на нём, он говорил: «А не податься ли нам куда-нибудь отсюда?... Что-то уж очень тоскливо стало в России, друг мой. Тоскливо и гадко. И не видно впереди просвета... Какой смысл оставаться здесь? Что мы можем изменить в этом жалком мире?..»

Наконец, наш руководитель не выдержал. Он сказал:

– Уважаемый, вы ставите меня в идиотское положение. Второй год вы диссидентствуете у меня на семинаре, но я терпел вас из-за вашей несчастной матери. Терпеть вас дальше я не намерен.

И мой приятель исчез. Нет, он по-прежнему жил в своём флигеле, но на семинарах в институте больше не появлялся. Мы знали, что его мать ходила к ректору, плакала там, показывала всем справку, которая должна была разжалобить и смягчить институтское начальство, но этого не произошло.

Потом я узнала, что он пошёл работать лифтером. И начал очередной том своей эпопеи. Он не печалился о том, что ни одна его строчка никогда не была опубликована. Писать для него было таким же естественным и необходимым, как пить по утрам крепкий чай, гулять по Тверскому, общаться с приятелями.

И вот теперь он шёл мне навстречу. Я знала, что он попросит у меня рубль или трёшницу, и я дам ему, зная заранее, что он никогда не вернёт. Он считал это ниже своего достоинства – возвращать долги по мелочёвке. И будет призывать меня бежать из этой страны, прекрасно понимая, что ни я, ни он никуда отсюда не побежим. Потому что нелепо бежать от того, что тебе дороже всего на свете...

И вот он уже увидел меня, узнал и приветливо помахал мне рукой. «Здравствуйтесь, здравствуйтесь! Ну, как, вы всё ещё в этом гадюшнике?» – улыбаясь в окладистую чёрную бороду, спрашивал он и тряс мне руку. – Восхищаюсь вами. Восхищаюсь вашим терпением».

Потом он, конечно, попросил у меня займы, и я не смогла ему отказать, и отдала ему свою единственную трёшницу, на которую собиралась жить неделю. А он, положив её в карман, сказал: «Поэту очень мало нужно. Немного хлеба и немного вина». Потом мы поговорили об общих знакомых и уже собирались расходиться в разные стороны, как он, немного замаявшись, сказал:

– А вы знаете, я нашёл прекрасную работу. Очень много свободного времени. Главное – голова во время работы свободна: можно думать, наблюдать... И деньги. Правда, совсем небольшие, но всё равно кое-что.

– И где же? – спросила я.

– А вы не будете меня... презирать? – неожиданно спросил он.

– Я? Вас?

– Ну, так вот, друг мой. Я работаю натурщиком... Нет, вы правда не презираете меня? Из лифтёров, знаете ли, меня уволили.

– Господи, за что же мне вас презирать?

Он опять оживился, заулыбался. Он стал в позу Давида с пращой:

– Вот так стоишь часами, а за спиной карандаши – шур-шур-шур – как тараканы. Так и шуршат... Нет, вы действительно не презираете меня?

Весной из флигеля всех жильцов выселили и отдали его заочному отделению, переоборудовав квартиры в аудитории. Мой приятель исчез из моей жизни, наверное, навсегда. Наша встреча на осеннем бульваре была последней.

Иногда я вспоминаю его, вроде ни с того ни с сего, слышу печальный и ироничный голос с соломоновыми интонациями:

«Шур-шур-шур – как тараканы...», и мне становится больно и грустно.

А порой, заходя в книжный магазин, я ловлю себя на том, что ищу взглядом на прилавке... невозможную книгу.

16—18.11.1988

Двое на дне дождя

Мы вышли из Литературного института и пошли через сквер к воротам. Накрапывал дождь. Огромные редкие капли стучали по листве и по асфальту, как виноградины. И пока мы шли, за те несколько минут, накрапывание превратилось в сплошной поток. Дождь бешено зашумел, растрепал деревья институтского сквера и бульвара за воротами. Стало темно, как в колодеце. Дождь был таким плотным, что между мной и моим спутником образовалась как бы стена.

– Я – на Цветной, в «Литературку», а тебе куда? Давай подброшу!

Мне надо было в метро, но никакого метро по дороге от Тверского до Цветного в ту пору ещё не было. А в «Литературке», в отделе писем, у меня работал старый знакомый, которого я давно собиралась повидать.

– Тогда и мне на Цветной, – сказала я.

И мы нырнули в его красный «жигулёнок», стоявший у обочины сразу за воротами. Развернулись. Поехали. Ливень хлестал, выл, клокотал...

Мы не доехали и до Пушкинской. Ткнулись опять в обочину. Мир вокруг перестал существовать. Ни машин впереди, ни домов, ни решетки бульварной изгороди. Был только белый, гудящий поток... Какой-то первобытный, безумный... По мостовой неслась взбесившаяся река... «Жигулёнок» едва удерживался, чтобы не оторваться от потонувшей обочины и не поплыть вспять – к Никитским воротам – бумажным корабликом, не закувыркаться в мутных волнах летучей щепкой... Хотя казалось: ни Пушкинской площади, ни Никитских ворот в природе уже не существует – всё начисто смыто...

– В жизни не видел такого дождя, – сказал мой спутник. – Прямо конец света...

– Или – начало, – сказала я.

– Всегда ты споришь, – сказал он с лёгким укором, и мы засмеялись. – Ужасно ты похожа на мою младшую дочку.

А июльский ливень гудел и полыхал за мутными окнами нашего батискафа... Нас слегка покачивало.

– Послушай, а ты всерьёз решила перейти на заочное? Может, всё же останешься в моём семинаре?

– Да нет, уже решила... Надо зарабатывать на жизнь.

– А почему ты не живёшь на литературный заработок?

Я засмеялась на его слова.

– Потому что у меня его нет!

– Надо подсуетиться. Брать командировки в журналах. Хочешь, помогу с этим?

– Спасибо, но... У меня не получится писать на заказ.

– Надо уметь писать всё. И на заказ тоже. Многие начинают с того, что пишут на заказ.

– Мне кажется, если этим заниматься, то отучаешься писать по-настоящему, своё.

Я думала, он обидится на мои слова или разгневется (а гневаться в мой адрес он умел!), но он смотрел на меня по-доброму, ласково и грустно. И я вдруг впервые за два года нашего напряжённого, трудного общения (норовистая студентка – и творческий руководитель), увидела за его аристократической внешностью – немолодого, усталого человека.

– До чего ж ты похожа на мою младшую дочь! – опять сказал он. – Ну, скажи мне: почему вы всегда спорите?..

– Не знаю, как ваша дочь, а лично я терпеть не могу спорить, – сказала я.

Он захохотал. И это тоже было неожиданно – его смех, как и непривычная теплота в глазах, которые два года смотрели на меня с такой непримиримостью! С самой первой встречи:

с первого занятия, когда каждый студент выходил на середину аудитории и читал одно стихотворение – для знакомства. Критического замечания удостоилась только я.

У той – первой – встречи была предыстория. Три года подряд, весной, я посылала свои стихи в Литературный институт – и они неизменно возвращались обратно, «как не прошедшие творческий конкурс». Что в них было не так, и чем они не удовлетворяли высокочтимую приёмную комиссию, оставалось для меня загадкой: рецензия к стихам не прилагалась. Было любопытно – почему всё-таки?..

И как-то раз, посреди зимы, задолго до начала конкурса, я решила послать их кому-нибудь из поэтов, кто вёл в институте творческие семинары. Кому посылать – было всё равно. Поэтому я написала на бумажках несколько фамилий, бросила их в шапку – и вытянула... ту, на которой была фамилия человека, рядом с которым я сидела сейчас в маленьком батискафе на дне первобытного океана... Тогда я обрадовалась: с этим именем было связано несколько моих любимых песен, а одну, старую-престарую, ещё довоенную, я особенно любила напевать в детстве. Про любимый город, который может спать спокойно...

Я послала ему стихи и просила написать откровенно, стоит или не стоит попытать счастья ещё раз. К своему величайшему удивлению, вскоре я получила ответ. Не на официальном бланке и даже не на машинке – а большое письмо от руки! Он писал, что стихи у меня симпатичные, но уж очень они подражательны. Что подражаю я сразу многим поэтам: Ахматовой и Цветаевой, Блоку, Есенину и разным другим. И что комиссия творческая очень строга... И что не берётся он мне давать совет, а вывод из всего выше сказанного я должна делать сама.

И я его сделала. Я вновь послала стихи на конкурс!

На этот раз небесным светилам было угодно, чтобы я прошла. Мало того – я ещё и оказалась в семинаре того самого поэта, которому писала зимой письмо! Рядом с которым сидела сейчас в маленьком «жигулёнке» под ревущим ливнем...

Я не понравилась ему с первого взгляда. Может быть, тем, что не послушала его ненавязчивого, но вполне определённого совета, что поставила его оценку моего творчества под сомнение?.. Так или иначе, но моё появление в стенах института он воспринял как вызов. Или мне показалось так? Может, он и забыл уже о том письме?.. Просто невлюбил меня – и всё тут.

Каждое моё стихотворение подвергалось беспощадной критике. Дошло до того, что однажды, совершенно не помня себя от раздражения, он швырнул мою рукопись на стол (так что некоторые страницы полетели на пол) со словами, которые надолго врезались в мою память: «Никто не докажет мне, что это – поэзия!»

Но ещё больше накалялась обстановка, когда я выступала в роли оппонента при обсуждении творчества моих однокурсников. Стоило мне высказать какое-либо критическое замечание в чей-либо адрес, как почтенного поэта начинало буквально трясти от возмущения: как это я (самая невозможная из всех!) осмелилась критиковать такие замечательные творения – я, которая сама написать ничего подобного не способна! («И слава богу, что не способна!», думала я про себя).

И вот, в один прекрасный день, это уже было на втором курсе, в начале зимы, в такой чудесный светлый снежный день, разыгралась очередная буря.

Разбирали стихи нашей семинаристки, украинской поэтессы, такие же лёгкие и светлые, как снежок за окном, как курлыкание голубей на запущенном снегом карнизе... Добрых слов было сказано много, как никогда. Но встречались в стихах и общие места, и повторы, о которых, никуда не денешься, тоже пришлось сказать. Боже правый, что тут началось!.. В общем, всё – как обычно: он упрекал меня в придиричivosti, в критиканстве, в отсутствии самокритичности. Сама виновница нашей схватки встала на мою защиту, но он не слушал её!

Распалившись окончательно, он бросил мне заключительное обвинение: «Вы вылили на свою однокурсницу ушат грязи!» Ну, это уж слишком!.. Я подумала: «Терпеть все это ещё четыре года?.. Зачем?» И тогда я поднялась, и, холодея от собственной дерзости, сказала ему: – Возьмите свои слова обратно!

Стало тихо. Очень тихо... Слышно было, как тюкают по карнизу голубиные клювы: «Тюк-тюк, тюк-тюк-тюк...»

Мы смотрели в глаза друг другу. Он был ошарашен. Раздражение на его лице сменилось изумлением и почти детской растерянностью. «Тюк-тюк, тюк-тюк-тюк...» – доносилось из-за окна... Нет, не хотела бы я оказаться на его месте, – думала я, не отводя взгляда.

– Я жду, – сказала я, и голос мой (о чудо!) не дрогнул.

Долгая, очень долгая пауза.

– Ладно, беру!.. Ты довольна?! – пророкотал, как обвал, в тишейшей аудитории его голос.

– Я довольна.

И опустила на стул. Коленки мои дрожали. «Тюк-тюк, тюк-тюк-тюк...»

Семинар продолжался своим ходом. Только руководитель наш в нём не участвовал. (Вот и пригодился наконец ассистент, всегда молчаливый). А наш руководитель сидел, устало ссутулившись, прикрыв рукой лицо, его седая грива растрепалась, можно было подумать, что он задремал, утомлённый нашей перепалкой. Но на самом деле – из-под руки (я видела, видела!) он смотрел на меня. И во взгляде его не было ни гнева, ни раздражения. Он смотрел на меня... с любопытством! Он меня изучал. И так он сидел и смотрел на меня, пока не прозвенел звонок.

Я шла по заснеженному скверу, мимо одетого в белую пушистую шубу Герцена. Меня догнал один из наших семинаристов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.